

Лилия Ишуткина

Сокровенные заметки об Одессе и обо мне

Светлане Барде – с нежностью!

Часть I

1.

О родной земле под ногами и о небесах над нею

...Один из парадоксов моего существования состоит в том, что, неся в собственной голове четкую систему профессиональных знаний со множеством дат, имен и фактов, я никогда (никогда!) не умела ориентироваться в окружающем меня реальном пространстве. Прямо беда какая-то!

Я не могла (и не могу!) без записей и помощи посторонних найти нужную улицу и нужный дом. Но и обнаружив, так сказать, топографическое и топонимическое искомое, я уже в утробе найденного дома тупо вторгаюсь в не предназначенные для чужого взора помещения, пока, отловленная смущенными хозяевами, не усядусь наконец в каком-нибудь углу.

Тем не менее, что тоже парадоксально, мне удавалось – без заметных потерь в здоровье и в имуществе! – возвращаться домой из чужих стран, городов и жилищ.

Более того! Лично осмотрев предварительно до семисот (!) квартир, я шесть раз в течение пятнадцати лет меняла адреса в Одессе, переезжая то туда, то сюда с грудой книг, баулов, «мёблей», с нетрудоспособными по малолетству или по старости членами семейства: ничего и никого не потеряла! Загадка для настоящих краеведов, не правда ли?!

С небом над головой у меня, наоборот, сложились прекрасные отношения. Разумеется, мысленные! Хотя мне и приходилось, конечно, многократно летать на самом деле. В мыслях же я абсолютно свободно перемещаюсь среди светил, облаков, птиц и самолетов, не замечая присутствия НЛО и отсутствия людей. Думается, эта странность явилась, прежде всего, некоей медитативной репетицией моего туда с земли естественного ухода.

Правда, был в этом моем активном небосозерцании и эстетический момент: игра писательского воображения из-за красоты мироздания.

Имелась и религиозная составляющая, сокровенная для меня, а потому не обсуждаемая.

Но я твердо знаю, что впервые осознанно я засмотрелась на небо еще до своего писательства: от отчаяния, вызванного тяготами моей тогдашней преподавательской деятельности.

Дело в том, что к весне я смертельно уставала от многомесячного, многодневного, многочасового говорения на лекциях, своих и чужих. Тогда во избежание нервного срыва я бросалась бродить куда глаза глядели...

И вот однажды ранней весной я добралась таким пешим манером до самых Дальних Мельниц. Будучи обитательницей старого центра города, я запуталась в нескольких местных Степных улицах и остановилась, дабы оглядеться: невероятная воздушная свежесть, тишина и безлюдье! А вверху, в очень холодной небесной синеве, таял, на глазах исчезая, прелестно-хрупкий след мелькнувшего самолета. И наступивший тогда миг душевного отдохновения запомнился мне на всю жизнь...

Много лет спустя само небо чуть не стало объектом моего филологического исследования. Влюбившись в греческую античность и обнаружив ее в истории родного города, я задумала сделать книгу о греческих созвездиях в одесском небе и их мифологических наименованиях. Испросив согласия соответствующих лиц и получив его, я отправилась вечером в Одесскую обсерваторию, где один из ее научных сотрудников дал мне прослушать «голос космоса» – запись космических шумов, и показал в телескопах россыпи бесчисленных звезд в черном небе... Я ушла потрясенная.

Тогда же, переделав свои вечерние земные дела, я попросила домашних оставить меня в спокойном ночном одиночестве: мне хотелось образно представить себе бесконечность-вечность пространства-времени. И – я начала сходить с ума! Я услышала, как в непосильности скрипнул мой бедный филологический мозг, устроенный, очевидно, совсем иначе, нежели мозг астронома-ученого...

Книгу о звездах я писать не осмелилась. Но смотреться в небо не перестала. Я люблю небеса над Одессой: ночные, дневные, в грозу и в тихой их бездонности. А еще я люблю лицезреть (иначе не скажешь!) пути облаков в небе – из качалки на своем балконе! Об этом я написала так:

Плывут облака куда-то,
Плывут они низко-низко!
Без всяких на то мандатов
И без особого риска.
А я, как поэты земные,
Гляжу на них в духе ретро
И им говорю: «Родные!
Плывите по воле ветра!»
Сама остаюсь в качалке –
Без облачной легкой силы.
И думаю: «Ах, как жалко!
Зачем родилась бескрылой?!»

2.

О море у родных берегов и о спусках к нему

Самый знаменитый из спусков к Черному морю – это, конечно, Потемкинская лестница в Одессе.

В первый год после Войны, когда старый лестничный фуникулер еще не починили, а до нового нужно было прожить чуть ли не с полсотни лет, мы с отцом ежемесячно пешком поднимались и спускались по гигантской лестнице из чисто пищеварительных причин: мы шли получать отцовский паек на подлодку, где он,

военный моряк, продолжал служить и в мирное время. Вскоре отец возглавил судоремонтные военные мастерские в порту, где такие подлодки чинились. Но прежней кормилице не изменил, и в положенные дни, прихватив меня, он шел за причитавшимися ему крупой, горохом и консервами, что помогло нам с матерью выжить в голодные послевоенные годы.

Обычно я с радостью увязывалась за отцом, надеясь, что, как всегда, подлодочный кок угостит меня флотским борщом, о котором я и теперь думаю, что это самая вкусная еда на свете.

То, о чем мне давно и мучительно хотелось рассказать, чтобы наконец успокоиться, случилось как раз у Потемкинской лестницы теплым осенним днем 1945-го года.

Одесса тогда еще не обустроилась после Войны; на Приморском бульваре, называемом по-старому бульваром Фельдмана, лежали не убранными мешки с песком, защищавшие памятник Пушкину; машины по городу разъезжали только военные и для военных; одесситы же пользовались в исключительных случаях пролетками с грустными тощими лошадками в них и не унывающими вопреки всему извозчиками на козлах.

Обычно днем бульвар пустовал. Лишь к вечеру его главную, над обрывом, аллею заполняли матросы и их знакомые девушки.

И вот однажды в предзакатную пору солнечного дня мы шли по безлюдному бульвару к лестничному спуску – мимо Дюка и мимо площадки слева от него, где, как увиделось нам, у самого ее края, облокотившись на ветхие перила, стоял в одиночестве пожилой грузный человек в штатском. Он вглядывался в морскую даль, очевидно, прислушиваясь к рабочему гулу порта и дивясь неухоженному парку, затаившемуся глубоко внизу.

Не в таких словах, разумеется, но верно по сути думалось и чувствовалось мне тогда, ибо с малолетства я была сверх меры любопытной к миру и к его людям.

В итоге я хорошо разглядела этого человека и, повернувшись на ходу к нему, продолжала смотреть, когда он вдруг, резко наклонившись, проломил собой ненадежные перила ограды и рухнул вниз, оборотив к нам большое белое лицо с безумными глазами. Я доселе слышу чудовищный шмяк его тела о землю...

Потом, помню, отец нес меня, десятилетнюю, на руках по лестнице и до самого судна. Я не могла идти, говорить и есть.

Обратно, к дому Вагнера на Екатерининской, где мы тогда жили, отец снова нес меня, обезноженную, по Потемкинской лестнице, до самого ее верха. Тяжело поднявшись, мы сели передохнуть на ступени Дюкова постамента. И надо же было такому случиться, чтобы прямо к нам подлетела и рядом остановилась пролетка с растрепанной женщиной. Та, спрыгнув, бросилась стрелой к проему в покореженной ограде проклятой площадки, а добежав и глянув вниз на неподвижное тело родного человека, рванулась к нему, тут же подхваченная ожидавшими этого людьми...

Во всю потом дрящущую жизнь я так и не научилась без судороги смотреть, стоять и идти на и по Потемкинской лестнице, ни в чем, кстати сказать, не повинной. Возможно, теперь, обо всем рассказав, я приму, наконец, ее снова в сердце свое.

А в те далекие дни отец лечил меня по-своему: морем! Я приходила к нему в порт на Австрийский пляж, и летним днем, после работы, он уплывал со мной на шлюпке далеко от берегов. Там, в спокойном море и с ощущением покоя от близости отца, я плавала, сколько хотела, – в прозрачной толще воды, над стайками рыб и над нарядными морскими звездами, так украшавшими собой чистое песчаное дно...

А теперь совсем о другом!

Когда я только-только должна была родиться, но еще не родилась, моя будущая бабушка пошла гадать обо мне по фотографии дочери, моей будущей матушки.

Предсказание по фото должна была сделать самая знаменитая гадалка Чубаевки (так много лет назад называлось городское предместье в районе 1-й станции тогдашней Люстдорфской дороги в Одессе).

Глянув на фотографию, ворожея изрекла, что родится девочка (подтвердилось), что она будет хорошо говорить (под вопросом) и что она умрет от воды (поживем – увидим).

Фоторезюме пророчицы мне постоянно цитировали в воспитательных целях:

– Как ты ведешь себя? Ты же девочка!

- Больше рассказывай о прочитанном! Ты идешь на филфак!
- Не плавай до безумия – утонешь!

Я все приняла к сведению и вырастила из себя какую-никакую женщину; стала каким-никаким преподавателем-лектором; правда, два раза тонула, но все же упрямо выбиралась на берег.

Относительно последней части предсказания интересно высказалась моя приятельница-врагиня, всю жизнь прожившая не-вдалеке от меня и всегда меня с собою сопоставлявшая в свою пользу. Однажды, как бы примеряя, какой вид смерти мне был бы более к лицу, она задумчиво сказала: «От воды умереть – это не всегда утонуть. Можно и отравиться!».

После этого я освободилась от власти любых гаданий и на все махнула рукой: чему быть, того не миновать! Нельзя сказать, чтобы я очень уж гусарила в жизни. Но волею судьбы попал в сложную, а иногда и опасную ситуацию, я не трусила, а пыталась найти достойный из нее выход.

К моменту моего супружества и рождения дочери мы жили уже не в историческом доме Вагнера, а в другом, не менее историческом, но иначе. В него, в первый в Одессе, в Войну попала бомба, и отец, получая ордер, решил, исходя из теории вероятности, что в случае рецидива войны мы в таком доме и теоретически, и практически обязаны были выжить: бомбы дважды в одно и то же место не падают!

Этот высокий для старой Одессы дом позволял нам видеть с крыши праздничное возвращение китобоев в одесскую гавань. И в этот дом почти упирался Военный спуск, носивший тогда имя Жанны Лябурб. Это было удобно, так как позволяло мужу, торговому моряку, быстро добираться до своего судна, которое, как и другие суда, часто швартовалось вблизи скромного старенького морвокзала. Но случалось, что капитаны бросали якоря в море у берегов, на рейде. Тогда жен и детишек к их мужьям и отцам доставляли юркие катера... Мне долго нравились эти встречи и расставания; горечь и усталость от них пришли много позже.

У каждого из нас свое ощущение моря. Одни умеют рассказать об этом ощущении, и рождаются прекрасные произведения маринистов: поэтов, прозаиков, художников, музыкантов, мастеров

кино и фотографии, артистов разных театральных жанров. Другие же несут чувство-мысль о море в себе, молчат, не умеют или не желают душевно самообнажаться. Ну, а я четко запоминаю самые первые, новые для себя миги общения с чем-то или с кем-то вообще. Я всегда их помню. Я их коплю. Я подспудно по нарастающей всегда хочу рассказать о них другим – в частной беседе, в лекции, в книге.

Например, я твердо помню, что ночное небо над Одессой и ее берег в ночи живут во мне с момента, когда я загляделась на них с верхней палубы стоявшего на рейде судна мужа. Было это много-много лет назад. Тогда у команды случилась серьезная авария в машине, и все механики трудились там в поте лица. А не-механики и гражданские лица спали по своим каютам.

Я вся иззудилась от бессонницы и, спасаясь от нее, вскарабкалась на самый возможный на судне верх, чтобы оттуда посмотреть на ночной мир вокруг. И я его увидела, насколько позволили это сделать луна, звезды и береговые огни...

А потом по лунной дорожке прямо ко мне заскользил по морю огромный парусник – знаменитый бриг «Товарищ». Никаких ассоциаций с солнечными «Алыми парусами» Грина! Это был реальный, в молчании и в парусах плывущий к берегу, мимо меня, корабль. А на верхушке самой высокой из его мачт прилепилось крохотное настоящее облачко.

Мне безумно захотелось тут же кому-то рассказать обо всем этом. Однако, на беду мою, близкие на судне люди трудились или спали! Но был еще отец, который все и всегда понимал во мне! Оставив записку мужу о своем возвращении на берег и прихватив привезенный им в подарок отцу французский коньяк, я бросилась к вахтенному у полуспущенного судового трапа, услышав шум подошедшего катера. Мне удалось удачно прыгнуть с траповой последней ступеньки прямо в руки матросу дежурного суденышка, и уже глубокой ночью я вышла из пустого здания морского вокзала к Военному спуску, тоже безлюдному. Я шла к своему дому по средней части пустынной улицы, зная, что за аркой Сабанеева моста мне останется пройти более короткую и безопасную часть пути. Но пугал проход под самой аркой моста, так как по обеим

ее внутренним сторонам тулились к стенам какие-то мрачные даже днем ветхие строения то ли городских сортиров, то ли убежищ для бродяг.

И вот когда я, тот еще храбрец, приблизилась к опасному переходу, от противоположных его стен отделились и застыли в молчании человечьи фигуры. Не сбавляя шага, не останавливаясь, я, поравнявшись с ними, выставила прямо за собой, на мостовую, бутылку знаменитого коньяка и, любезно обронив «Это вам!», прошла под аркой Сабанеева моста к хорошо освещенной дороге домой...

– Где ты был, когда тебя там не было? – нефилологично обрушилась я на открывшего мне и сонно-потрясенного моим бешеным звонком в дверь отца.

– Я, кажется, спал, дорогая! Все на даче. А что, нужно кого-нибудь стукнуть?

О, мой друг-отец, мой верный страж!

3.

О триединой Одессе и об отце, который вдруг стал мне сыном

Всего несколько слов в заключение. Одесса для меня существует, и это понятно теперь, в триединстве ее земли, ее моря и ее неба. Потом возникает конкретика: ее улицы и ее дома. А затем приходит психология: появляются люди, обаятельные или мерзкие, но всегда по-одесски родные.

Мой отец был земным человеком, связанным профессией с морем и рано умершим, уйдя на небеса. Наверное, поэтому я упорно думала о нем во все время работы над этим рассказом. Он очень любил Одессу и меня в ней.

Уже долгие годы я живу без него, но с памятью о нем. И вот, закончив вспоминать, я сравнила возраст сегодняшней себя с его возрастом в момент его смерти и вдруг поняла: я стала настолько старше его, что уже могу быть ему матерью! Я несказанно удивилась этому. И заплакала...

Часть II

1.

О бирже на Александровском проспекте

Возможно, правы те, кто находит сравнение мысленных ассоциаций с зарницами памяти слащавым и витиеватым. Пусть! Зато оно верно по сути. Бывает, что слово, произнесенное или записанное, вдруг, подобно огниву, высекавшему пламя, рождает мгновенную вспышку сознания, эту зарницу памяти, этот отблеск воспоминания, казалось, угаснувшего навсегда, – и бывшее возвращается к нам!

Так случилось со словом «обмен» из абзаца первого листка этих заметок. Оно прямо-таки взбудоражило мою ассоциативную память, и та без всяких усилий с моей стороны вернула меня в мир моих давних обменных мытарств.

Некогда обмен жилья в Одессе считался очень не простой операцией. Для любого горожанина обмен начинался с прихода в единственное тогда на весь город Бюро по обмену жилплощади, которое располагалось в нижнем этаже жилого хрущевского пятиэтажного дома, что стоял и поныне стоит на одном из углов плохо цивилизованной в ту пору улицы Фрунзе (Балковской).

Инспекторы бюро, одуревшие от наплыва одесситов, желавших мигрировать по Одессе, за грошовую плату выдавали клиентам несколько грязных пухлых замызганных тетрадок, куда вписывались (не всегда точно!) быстро терявшие свою актуальность адреса обменщиков. Любопытно отметить, что никто из них не хотел первых и последних этажей, коммуналок, квартир без телефона и поселков (Черемушки, Таировский массив, Котовские выселки). Проживая подчас именно в таких печальных исходных обстоятельствах, народ потому и стремился к их радостной, через обмен, перемене. Обмен порою оказывался многоступенчатым, с большим числом участников и порядком запутанным. Тогда в нем явно чуялся запах чьей-то кому-то доплаты, официально именуемой спекуляцией и законом караемой, но все равно победно утвердившейся в обменном подтексте и в его реалиях...

Разочаровавшись в бюро и презрев его, народ валом валил на проспект Мира, ныне Александровский, где ежедневно и до ночи шумела, толкалась и процветала нелегальная стихийная квартирная биржа. О ней, конечно, знали в городском управлении милиции, расположенном в двух кварталах от биржи, но относились к ней терпимо, будучи хорошо осведомленными о ее людях, их делах и их замыслах. Такова «се ля ви» в Одессе!

На биржу сходились и приезжали из разных мест: за адресами обменщиков, одесскими и иногородними; за партнерством, личным и заочным; за осмотром жилого фонда; за советами и посредничеством подпольных одесских маклеров и маклерш, среди которых имелись свои некоронованные короли и королевы.

По большому благу меня познакомили с некоторыми из них, и после короткой, но вполне профессионально проведенной проверки «на вшивость» я была принята в этот абсолютно чуждый мне мир ловких и часто опасных людей...

Все это, тем не менее, было нужно, так как к тому времени мое семейство разрослось, и ему требовалось уже более просторное, чем имелось, обиталище. Семейный совет определил меня в ходки по обменной части, интересно пояснив свое решение. Оказывается, мне были присущи главные для грядущего общесемейного дела качества: быстроноготь, авантюризм, неумный интерес к новым людям, дар общения с ними и оптимизм.

Памятуя о моей дурацкой склонности блуждать в трех соснах, матушка купила карту Одессы, где я ежедневно отчеркивала район предполагаемого после лекций осмотра квартир, чтобы, если я, не дай Бог, не вернусь, знать, где меня искать...

Скажу сразу! Я оправдала надежды близких. Осмотрев за полгода свыше двухсот квартир, я умудрялась каждый раз живой (иногда, правда, полуживой!) возвращаться в родные пенаты, обменяв их, в конце концов, на огромную старую квартиру в старом же доме и в привилегированном старом районе города. Брависсимо мне! Однако для описания реставрации этого разрушенного жилища, то бишь его многолетнего ремонта, требуются, конечно, не прозаические строки нынешних заметок, а эпос и гекзаметры.

Я до сих пор веселюсь, вспоминая финал своих обменных деяний, в которых приняло участие девять семейств. Без меня

с торбой их документов никто не ведал, куда и к кому идет. Для наглядности и успокоения нервных коллег по обмену мой муж, еще до переселения народов успевший получить два высших технических образования, начертил, нет, начертал на листе ватмана «Древо обмена» с цветными стрелками-указателями. Они впечатлили не только всех меняльщиков, но и зампреда райисполкома, утверждавшего нашу многолюдную сделку. Он тут же предложил мне возглавить квартирную группу в его ведомстве, но я, застенчившись, отказалась...

Мне думается, я выдержала это хождение по городским зяблям и хлябям не только потому, что это действительно нужно было мне и близким людям, но и потому, что все это оказалось невероятно интересным. Ведь я не только осматривала комнаты и удобства! В силу обстоятельств я встретила с огромным количеством разных и по-разному мне любопытных людей. При этом я выслушала такое же число их жизненных историй, которые, разумеется, и провоцировали эти обмены. В течение долгих лет, читая лекции об искусстве или готовясь к ним, я невольно, ассоциативно, вспоминала, дабы воссоздать тот или иной художественный образ, лица, манеру речи, пластику реальных людей, встреченных мною когда-то в обменном городском пространстве. Признаюсь, еще многое хранится в закромах моей памяти. Об одном из самых странных тогдашних «обменных» впечатлений мне хотелось бы рассказать...

2.

О даме в старинном кресле

Всего за десятку я купила у маклера адрес дома на Греческой улице с нужной, на мой взгляд, квартирой. Спрятав купюру, мэтр биржи изрек, как припечатал: «Нехорошая квартира!». Он сказал это совсем по-булгаковски, хоть и не ведая того.

Оказалось, каждый жилец упомянутой квартиры, громадной и запущенной коммуналки, мечтал обменять свою плохую комнату на чужую хорошую, при этом отдельную и без доплаты. Естественно, при таком раскладе расселить всех так, чтобы каждого

утешить, а квартиру целиком передать в одни хозяйские руки, было практически невозможно. Потому любые старания маклера и клиента неизбежно оканчивались полным провалом. И так – все последние годы!

«Нехорошая квартира!» – повторил, качая головой, мой старший коллега по обмену. На том и расстались...

И все же я решилась на квартирные смотрины потому, что «провальный» дом гнезвился на Греческой улице, а она занимала особое место в моей биографии. Шли годы, а я все никак не могла выкроить время, чтобы добраться до нее, неторопливо по ней пройти, взглядеться в дома по обеим ее сторонам, обрадоваться знакомцам среди них и вспомнить тех, кто жил здесь когда-то.

Это было моим давним желанием, потаенным и страстным. Обменный адрес стал поводом для того, чтобы оно, наконец, осуществилось. И я отправилась смотреть «нехорошую квартиру».

Ностальгически-деловой променад я начала, двигаясь вниз по заветной улице от легендарного Круглого дома Маюрова, что на Греческой площади. Тогда этот дом еще не был, как теперь, прихлопнут к земле гигантским надстроенным над ним архитектурным стаканом с торговым центром посерединке.

Мой же дом оказался всего в двух шагах ходьбы от Греческой площади, и смотрелся он типично одесским старым двухэтажным особняком.

Через открытые настежь невысокие ворота я вошла в подъезд, который замыкался деревянными столбами-подпорами. Пройдя между ними, я очутилась в мощеном, без травинки, дворике и разглядела у себя над головой балкон на этих самых столбах. Квадратным козырьком он нависал над дворовым пространством и очень мне понравился: чугунное кружево решеток редкой красоты, витые изящные колонны по углам, цветущие деревца у двери. «Каков же должен быть зал при таком балконе?» – подумала я.

Но совсем не в тон балкону оказалась шаткая деревянная лестница, по которой я поднялась на второй этаж. Входная дверь квартиры тоже не стоила доброго слова. Я надеялась, что меня ждали за нею, ибо я заранее, через маклера, договорилась с хозяевами о встрече. Действительно! После стука взамен оборванного

звонка дверь распахнулась, и моим глазам предстало фантастическое зрелище: мгновенно и синхронно, будто по команде, распахнулось не менее десятка других дверей – в длинный темный коридор, который сразу стал светлым. А в дверных проемах воздвиглись в молчании фигуры жильцов обоего пола. Только жестами, без слов, они направляли меня в разные углы своего жилья во все время моего пребывания в доме. Вначале – на кухню, где на дощатом, в щелях, полу выстроились в ряд штук пять ржавых газовых плит. Потом – в два туалета, один грязнее другого. Затем я обзрела две убогие ванны, одна из которых, очевидно, продолжала служить жильцам кладовой. Так и не пригласив меня в свои личные комнаты, молчуны указующими перстами отправили меня еще к одной двери в конце коридора. Я подошла к ней и чуть постучала. «Entrez!» – услышала я французское разрешение войти. Я вошла и – замерла! Из старинного большого кресла, будто с родового портрета, мне любезно улыбалась и смотрела прямо в лицо старая дама-аристократка. Завернутая в кремовые кружева платья с высоким воротом, она одной рукой поправила седые буколки на висках, а другой поднесла к глазам золоченый лорнет, сквозь который внимательно меня оглядела.

Насладившись произведенным эффектом, дама спросила на французском же языке, говорю ли я по-французски. «Нет!» – почему-то неправдой ответила я. И тогда маленькая рука в кружевной манжетке круговым движением как бы пригласила меня взглянуть на остальное пространство зала, где не пребывали ни она сама, ни ее кресло.

Я увидела прелестно отделанный просторный зал редкой овальной формы. Многофигурные фрески над стенными деревянными панелями золотистого цвета, огромная хрустальная люстра, звенящая подвесками, великолепный паркетный пол – и абсолютная дворцовая пустота!

Указав лорнетом на зал, на балкон, на видневшуюся за ним часть дома, эта странная дама, волшебным образом пришедшая сюда из какого-то классического романа, знакомо сказала: «Когда-то это все было нашим. Потом власть рухнула, и все забрали другие. Отняли дом, убили отца, обездолили меня. Долгие годы я сплю в чулане при этом прежнем нашем танцевальном зале. Его тоже, наверное, скоро

отнимут. Я отдала знакомому инженеру последние безделушки, которые смогла сохранить, чтобы отделать этот зал, сделать таким, каким он был прежде. Я, знаете ли, скоро умру – здесь, в этом кресле, перед этим балконом. Да, уже скоро, я это чувствую!».

«Ваш зал прекрасен, сударыня! – ответила я.– Живите в нем так долго, как только сможете!» Тихо поклонившись удивительному существу из ушедшего времени, я вернулась в обшарпанный коридор коммуналки, прошла сквозь строй ее безгласных жильцов, спустилась по ветхой лестнице во двор и, прощально махнув рукой красавцу-балкону, вышла на Греческую улицу...

«Нехорошая квартира!» – мысленно согласилась я со старым маклером и остановилась в раздумье...

3.

О моих раздумьях на скамеечке

После беседы с дамой, сидящей в старинном кресле, мне и самой захотелось где-нибудь присесть, чтобы перевести дух и собраться с мыслями.

Нужная лавочка обнаружилась тут же, у входа в соседний милицейский участок, под доской с часами приема для желавших того граждан. Дежурный милиционер, спасибо ему, ни слова не проронил за все долгое мое сидение рядом с его служебным стоянием, и я, успокоившись, наконец невольно загляделась на плавно уходящую вниз Греческую улицу.

Мне, тогда уже взрослой женщине с определившимся настоящим, и представиться не могло, что через много лет, откровенно постарев, я – вдруг! – уйду в писательство и краеведчески точно опишу эту самую Греческую улицу в «Твоем греческом имени» (2001) и повторно в «Исповедальной книге» (2011): с нумерацией домов, с именами их архитекторов и владельцев, со сведениями о тех знаменитых людях, кто когда-либо в этих домах проживал.

Но в обменном своем прошлом я, далеко не провидица, лишь поднялась, поразмыслив, с гостеприимной милицейской скамеечки и, как мечталось, побрела «вниз да по Греческой», поглядывая по сторонам и вспоминая то, что не забылось...

Часть III

1.

О Греческой улице

Я шла мимо домов, где, казалось бы, совсем недавно жили близкие мне по духу или по родству люди. С пушкинской грустью я признала очевидное: «Иных уж нет, а те далече!».

Первыми мне вспомнились дома трех моих одноклассниц: самой доброй из них, самой в женском быту искусной и самой в классе умной.

Позже, в студенческое время, я приходила в гости на Греческую улицу еще в два ее дома, расположившихся рядом: к со- студентке, ставшей позднее известной журналисткой, и к одно- курснику, впоследствии успешно преподававшему русский язык и литературу в техникуме, где работал директором мой отец.

Остался позади и дом, в котором до Войны жила моя тетуш- ка, одна из самых женственных женщин, когда-либо встреченных мною. Отправляясь в эвакуацию, она взяла с собою лишь связку любовных писем и модные тогда фильдекосовые (!) чулки. Боль- ше ничего!

А вот и монументальное здание медицинского училища № 1, где училась родившаяся уже после Войны моя любимая двоюрод- ная сестра. Наконец я остановилась там, где хотела и куда изна- чально стремилась: перед домом, в дворовом флигеле которого мои родители снимали комнату в далеком 1940-м году. Теперь там с улицы высится новый дом, но наш старый флигель во дворе сохранился и ныне.

Перед уходом на войну с белофиннами мой отец доверил свою жену и двух маленьких дочерей попечению славных людей, жив- ших здесь в двухкомнатной небольшой квартирке.

Я запомнила почтенного седовласого Самуила Яковлевича, который даже днем передвигался по дому в белых полотняных портках с развязанными штрипками.

И жену его помню, молодую красавицу Ребекку, всегда в мо- дельных туфельках на каблучках «полукантес» (понятия не имею, что означает в переводе это слово из лексикона модниц

того времени!). Ребекка часто смеялась, будто у вас над ухом звенел не переставая серебряный колокольчик...

2.

О двух уличных историях

Перед Войной Одессу сотрясло большое землетрясение. Когда наш дом закачался, матушка схватила на руки меня, Ребекка – сестренку, и обе, не дождавшись Самуила Яковлевича, вприпрыжку сбежали с лестницы во двор к остальным перепуганным жильцам.

Когда земля успокоилась, мы вернулись к Самуилу Яковлевичу. Он как раз заканчивал вязать тесемки на кальсонах, сидя на табурете посреди кухни, и, наконец, был почти готов к спасительному бегу. Я до сих пор слышу взрыв хохота двух очаровательных женщин, темноволосой и с русыми косами. Молодость беспощадна к старости, а той за все нужно платить!

Но по-настоящему страшным для Греческой улицы оказалось другое событие. Не помню даты произошедшего, но вижу себя с матушкой на углу Греческой и Пушкинской улиц в момент, когда мимо нас вниз пронесся с отказавшими тормозами трамвай 23-го маршрута, а из него выскакивали на ходу и с криками падали люди! Через несколько минут за Строгановским мостом задымился грохнувшийся на бок трамвай. К нам, оцепеневшим от ужаса, добежала женщина с прижатыми к лицу руками. Она остановилась на мгновение и, отведя руки от лица, спросила: «Меня не ранило?». После чего побежала дальше в состоянии, как я теперь понимаю, чудовищного шока. Половины лица у нее не было, а была огромная кровавая рана...

После этой трагедии ватманы (водители) обязались еще до спуска высаживать всех пассажиров, и трамвай пустым медленно полз по Греческой улице к Строгановскому мосту, за которым останавливался. Только там люди, прошедшие тот же путь пешком, снова занимали свои трамвайные места...

И это все, что я вспомнила о довоенной Греческой улице и об историях, случившихся при мне...

3.

О близком финале

Я начала «Сокровенные заметки...» рассказом об отце, написанным с неизбывной к нему любовью.

Я завершаю «Сокровенные заметки...» воспоминаниями о матери, которой восхитилась ранее – в своей «Исповедальной книге».

Прошу! Будьте внимательны при чтении этих моих последних страниц, ибо они прежде всего о Войне – Великой и Отечественной!

Часть IV

О топоре в руках матушки

История первая

...Отец, когда шутил, всегда обращался к жене со словами: «Матушка моя!». А она лукаво отзывалась: «Да, мой батюшка!». В память о них, моих дорогих, я пишу о матери, маме, маменьке только как о матушке.

Топор в ее руках – не инструмент дровосечных дел, а оружие защиты – я видела дважды, о чем и расскажу.

Эвакуироваться в период Войны означало уходить от фашистов на свободную от них территорию, называемую тылом.

Наша с сестрой и матушкой эвакуация началась в июле 1941-го года из Севастополя, который отец покинул с другими защитниками города ровно год спустя, на последней подлодке. В начале войны он отправил нас в ближние горы, подальше от бомбежек, думая, как все, что война окончится в две недели. Этого не произошло, и отец настоял на том, чтобы мы выехали поездом в Мелитополь, где волею обстоятельств собралась вся женская часть материнской родни: бабушка, пять ее дочерей и четыре внучки. Я, шестилетняя, была старшей...

Дети Войны – это особое поколение ныне старых людей, побывавших в детстве на Войне и навсегда запомнивших ее ужас и ее величие. Необходимостью военного времени стала гражданская

эвакуация, состоявшая из трех тяжелых для людей моментов: из спешного отъезда из родных мест женщин с детьми и стариками, с узлами и узелками у каждого в руках; из опасной дороги – пешей, конно-тележной, тракторно-машинной, изредка железнодорожной; наконец, из прибытия в тыл, в какую-нибудь удаленную от фронта точку географического пространства страны, где сразу же начиналась тяжелая для женщин, но нужная фронту работа в цехах заводов или на сельских полях. Кроме того, женщинам нужно было еще кормить, лечить и учить детей! И женщины делали все это, часто в холоде, голоде и при невеселых вестях с линии фронта от мужей, отцов, братьев и сыновей. Кстати сказать, рядом с ними на фронте храбро, как они, сражались и женщины тоже...

Десять больших и маленьких женщин нашей семьи выехали поездом из Мелитополя, но доехали лишь до Макеевки: дальше поезд не пошел, ибо немцы уже прорвались к Краснодону.

Три месяца – пешком, на телегах, на полуторках – мы добирались и, наконец, добрались в наш тыл: Саратовская область, Краснокутский район, деревня Нойшенталь, откуда ее жители, немцы Поволжья, с начала Войны были высланы в Сибирь. На войне как на войне!

Мы заняли покинутые ими деревянные избы, стоявшие прямо посреди бескрайних, безлесных, по осени голых полей. До Сталинграда было рукой подать! Победы тогда Фредерик фон Паулюс, не было бы теперь ни меня, ни этих моих страниц.

Я помню, конечно, только отдельные моменты эвакуации. Высадившись в Макеевке, толпа народа и мы с нею двинулись в обход Краснодона, через степи, пешим ходом. Днем, а особенно грозно ночами небо полыхало огнем: уходя из Краснодона, наши взрывали шахты, чтобы врагу ничего не досталось. Даже много лет спустя военные фильмы начинались с полыхания пожарищ на весь экран, рассекаемый огромными черными цифрами: 1941...

Когда мы брели по сельским дорогам, к нам пристало бесхозное стадо коров. Их давно не доили, и бедные животные мычали от муки несдоенности. И все от мала до велика, горожане и нет, садились тогда на землю, чтобы туда же сцедить молоко, добытое их неумелыми руками. Этим молоком матушка не только поила нас, но и подчас мыла нам головы, так как в степи не было колодцев с водой.

Еще я помню запах прелой листвы в леске, где мы собирали хворост для костра. И сам костер, не забытый из-за цыганок рядом с ним. Старая цыганка грустно пела, и женщины плакали, а молодая вдруг вскочила и пошла, пошла в буйном плясе, и серебряные мониста у нее на груди все время подпрыгивали и звенели.

И вот я теперь мысленно снова вижу наш обоз из колхозных телег, куда мы, усталые, с радостью загрузились. А потом вижу, как обоз вдруг остановился посреди степи, надвое перерезанный залегшими цепью красноармейцами с винтовками. Они беспорядочно отстреливались от немцев-автоматчиков на мотоциклах.

Телега с нами была, к нашему счастью, в голове обоза, и мы очутились за цепью наших бойцов. Это нас спасло, ибо конец обоза оказался во власти гитлеровцев, и те расстреляли очередями из автоматов всех, больших и малых, кто находился в задних телегах. Одна из тамошних женщин чуть ранее зачем-то пересела к нам. Увидев гибель своих детишек, несчастная зашлась в вопле и, обезумев, поседела у нас на глазах. Вот тогда-то матушка выхватила из телеги топор, сгрудила нас четверых за собой и прижала правую руку с топором к плечу, чтобы удобнее было бить им врага. Тогда – не пришлось! Но матушку – такую! – я запомнила навсегда...

История вторая

Кроме нас в Нойшенталь (таким запомнилось мне это слово) были эвакуированы сотни три заключенных, которым военкоматы отказали в отправке на фронт. Их охрана состояла из нескольких бойцов, оказавшихся в тылу по ранению. Все мы беспрекословно подчинялись одному человеку: начальнику созданной здесь сельхозколонии НКВД. Эвакуированные и этапированные, военные и штатские, здоровые и раненые, женщины и мужчины – все с раннего утра до глубокой ночи работали в поле и в пошивочных цехах, ибо нужно было кормить и одевать бойцов фронта.

А Война все шла и шла, долгая и страшная. Ненависть к фашистам скопилась в душах огромная! Ежедневно кто-то рыдал, получив похоронку; условия жизни и труда были тяжелыми; сводки

из-под Сталинграда шли тревожные. Связь с отцом давно была утеряна, и мы не знали, жив ли он еще. И вдруг – победная весть о Сталинградской битве и огромном числе сдавшихся в плен немецких солдат!

В апреле 1943-го года к нам в Нойшенталь доставили двух военнопленных – для их поднадзорной работы рядом с заключенными. Война продолжалась...

Я помню приход немцев под конвоем к дверям конторы, единственного на всю деревню каменного дома, где находился кабинет начальника колонии. Два фрица, как их тогда называли, вытянувшись в струну, стояли перед толпой, в которую собралось все население деревни. Оба длинные, рыжие, в замызганных шинелях, они со страхом вглядывались в гневные лица людей, каждый из которых пришел, держа в руках камень, лопату, вилы или дубинку.

Матушка стояла впереди, опираясь на длинную ручку топора, опущенного обухом в землю. Она была абсолютно спокойна.

А толпа волновалась! Слышались выкрики, кто-то пробирался вперед, напряжение росло. Я, ребенок, всем своим детским естественным ощутила тогда волну всеобщей ярости и испугалась этой ярости толпы на всю жизнь. Я точно помню, что очень не хотела, чтобы матушка вместе со всеми рубила, била, разрывала на части этих проклятых фрицев, теперь беспомощных. Но ведь из-за них у меня не было ни дома, ни отца, ни нормальной школы! Однако теперь, в эту минуту, они боялись, как я, и намного больше, чем я...

Когда толпа придвинулась к немцам, конвоиры закрыли их собой. Начальник колонии, сняв свою военную фуражку, произнес всего несколько слов, но, как ни странно, люди остановились. Он сказал, что суд после войны накажет фашистов за все, что они сделали с нами, а самосуд превратит нас в таких же нелюдей, какими были фашисты во все время Войны...

Когда немцев, нетронутых, увели, а люди разошлись, мы с матушкой остались у конторы одни. «Ты все запомнила?» – спросила она меня, и я кивнула в ответ, ибо еще не умела говорить, тяжело и надолго контуженная после одной из бомбежек. Мы обнялись и тихонько двинулись прочь: я, матушка и топор с длинным топоричем, слава Богу, оставшийся без дела...

Финал «А напоследок я скажу...»

Жизнь дала мне возможность взять у отца защищенность, нежность и понимание женственности. У матушки – хмель атаки, страстность и мужество. У Одессы – самоиронию, жажду познания и радость жизни. Сумела ли я взять все это? Вопрос не ко мне.

Я закончила писать «Сокровенные заметки...», перечла их и подошла к зеркалу, чтобы взглянуть на автора и проститься с ним.

Из зеркальных глубин на меня смотрела очень старая дама с озорными глазами. Она медленно подняла руку в приветственно-прощальном жесте и... засмеялась!

